

Елена

КУЗЬМИЧЁВА



Родилась в Ярославле в 1991 г. После окончания учёбы в гимназии № 3 поступила в Ярославский педагогический госуниверситет, учится на специальности «Журналистика».

Пишет прозу.

Публикуется в интернет-альманахе «Снежный ком».

«Мёртвое море памяти» — это повесть об отчаянном одиночестве, о зыбкости памяти, неизбежности потерь и возможности обретений. Сочинение исповедально-медитативное, в котором угадывается неопределённое эхо литературных традиций XX века. Отвлечённо-философские рассуждения здесь внезапно пересекаются острыми образными впечатлениями.

В журнале публикуется фрагмент повести, который можно воспринять как вполне законченный текст.

Мёртвое море памяти

Главы из повести

Снаружи занимается лиловый рассвет, готовый взлететь над горизонтом и смелыми лучами заструиться — сквозь окна, занавеси — в спящие дома. Обхватив руками колени, я сижу на широком подоконнике в комнате с белыми обоями и измеряю глазами толщину оконных стёкол, между которыми лежит мёртвая бабочка, сложив за спиной потрёпанные, полупрозрачные светлые крылья. Уже вторую ночь я не могу заснуть, но мне радостно смотреть на этот, ещё безлюдный, ветреный двор, предрассветную уличную тишь. На первые отсветы прохладного осеннего солнца над красной охрой кирпичных домов, где сейчас неохотно открываются чьи-то сонные глаза, готовясь изжить ещё один день и отбросить его прочь, ещё раз променяв его на следующий. В комнате колышутся батистовые шторы. Внутри меня бархатный покой.

Я должен закончить начатое. Я буду писать, как раньше, простым карандашом — как пишут обо всём сомнительном, — чтобы всегда был шанс стереть всё и начать заново. И, может быть, будет не так пусто вокруг меня, если однажды я буду держать в руках свою наполовину выдуманную жизнь. Она будет существовать за пределами меня. Она будет существовать.

...

Страница 38. Комната Тимура

Я часто приходил к нему в гости. Он создал в своей комнате искусственный, книжный рай, где было всё о жизни — и в то же время ничего близкого к ней.

Книжный шкаф занимал одну из четырёх стен и доходил до самого потолка. В этом шкафу не было ни одной книги, которой бы он ещё не прочитал. Безразличный к форме, Тимур расставлял книги безотносительно к авторству и теме, я терялся в этой бессистемности и, зная назубок свой собственный хаос, никогда не мог ничего найти в чужом. Куда он дел все книги, когда уезжал? Неужели не взял с собой ничего? Но — как? Безупречный чтец, он никогда не мог жить, как живут остальные. У него никогда не было девушки, и, хотя он не избегал их общества, все они претили ему, не могли потеснить писателей и философов, безраздельно властвующих над его умом. У него не было друзей, да и я стал его другом только благодаря случайной прихоти учителей, которые вечно сажали нас за одну парту. О моей всё понимающей Алле он только слышал, но называл её бесплотным духом моей жизни и порой выражал свои сомнения по поводу её существования.

— Что-то сломалось во мне. Я перестал понимать людей, — однажды сказал он, рассеянно глядя в окно, и глядел всё тем же взглядом, каким глядел тогда, когда я впервые его увидел.

— С чего ты взял?

— Вот, знаешь ты мою соседку, хрупкую, белокурую женщину? — Я кивнул. — Что ты скажешь о ней?

— Она кажется мне легкомысленной, болтливой. Думаю, она тщательно следит за собой, за последние полгода она стала заметно стройнее. И эта прическа... Не сомневаюсь, что она каждый месяц покупает себе гляцевый журнал и жадно проглатывает его за завтраком. Никогда не видел её с мужчиной, — должно быть, у её жизни какой-то другой смысл. Наверное, карьера. Что ещё?

— Когда я вчера поднимался по лестнице, она шла впереди меня, и вдруг, бросив пакеты, опустилась на пол, зажмурив глаза. Когда я подошёл к ней и взял за плечи, чтобы помочь подняться, она закричала. Я отдернул руки. Она пробормотала: «Домой». Туда я отнес её на руках, ключ висел у неё на шее, как петля. Полупустые комнаты пропахли лекарствами. В хаотическом беспорядке валялись рецепты, инструкции, пустые упаковки из-под таблеток. Она быстро проглотила какую-то таблетку и взглянула на меня. Я молчал. Она сказала, что у неё рак. От этого она худеет. У неё на голове парик, мы оба ненаблюдательно думали, что она каждый день аккуратно укладывает волосы. Ты замечал, что у неё нет ресниц? Брови нарисованы косметическим карандашом, — я заметил это, когда наклонился к ней на лестнице. В комнате почти нет мебели. Спит она на полу, в углу я увидел одеяло и подушки.

— Ты говорил с ней?

— Да, в конце концов я заговорил. У неё на подоконнике стояла стеклянная банка, а в ней — огромная бабочка с распахнутыми, широкими сиреневыми крыльями. Я не

удержался и спросил про неё. Она не сказала, как называется эта бабочка. Она оказалась мёртвой. Однажды она закрыла банку не той крышкой — где не было отверстий для воздуха, — и бабочка задохнулась. У неё нет работы. Она живёт между домом и больницей, деньги берёт у родителей. Ей всего лишь девятнадцать лет. Уже семь лет она живёт только для того, чтобы выжить. Я не понимаю. Зачем?

— Может быть, она верит, что наступит день выздоровления?

— Я думаю, что она просто не может убить себя и ждёт, когда, наконец, болезнь принесёт ей смерть. Но болезнь не спешит... — безжизненно, обречённо проговорил он.

— Ты не прав, — возразил тогда я, — легко каждый раз говорить о смерти как о приятной бесконечности, пока ты здоров. Для неё же важны даже не часы — минуты — жизни, каждая из которых может стать последней. Думаешь, жизнь кажется ей бессмысленной? А как же Шопенгауэр, как же волнения и заботы, которые всегда держат человека в необходимом эмоциональном напряжении? Вся трагическая сущность жизни сосредоточилась в этой девушке.

— Но она не живёт. Её жизнь пуста.

— Думаешь, от того, что ты читаешь книги, твоя жизнь наполняется смыслом? Как бы не так. Ты только читаешь чужие мысли, усваиваешь их, проживаешь чужие жизни. Размышляешь о жизни — но, в сущности, лишь об абстракции, которую принимаешь за единственно возможный жизненный план. Следуя за твоей мыслью, всех больных нужно сжигать в газовой камере. Её жизнь — борьба. Разве борьба не достойна жизни? Она живее всех на свете книг.

— Впрочем, всё верно. — Он слишком легко уступил. Подозреваю, что половину сказанного мной он просто не слышал. — Но я бы не смог так. Сгнивать заживо...

Он поморщился.

Время от времени он стал разговаривать с людьми, пытаясь проникнуть в их судьбы. Но никто не был ему близок.

— Большинство их убеждений ничтожны, — говорил он мне, а я ждал, когда он перестанет искать этой ненужной близости к каждому, пытаясь, вглядываясь в жизни, увидеть всеобщую, глубинную суть мира. Он хотел понять жизнь, найти в ней смысловую опору, — но витал в своём собственном воздухе, которым никто, кроме разве что меня, не умел дышать.

А потом он пропал. И — пустота, крошечные сумерки чувства вины. Болезненное чувство утраты приходит только тогда, когда, внезапно преодолев тьму слепоты, замечаешь на месте, казалось бы, неизменного компонента жизни неожиданную пустоту. Утратив Тимура давным-давно, я осознал это, только когда вернулся домой, оставив университет.

Страница 39. На вокзале

Теперь мне не осталось ничего, кроме памяти. Начать новую жизнь я не мог. Было немыслимо представить, что один из этих мелькающих мимо городов может стать моим. Что в каком-то из них я смогу найти людей, которые меня поймут и которых смогу понять я. Эти города были только грудой бесполезных тел, бетона и металла. Ничто не оживляло их бесконечную серость, их бескрайнюю чуждость мне.

Однажды, едва выйдя из вагона, я решил поехать дальше и купил себе билет на ближайший поезд. Мне нравилось пренебрегать целыми городами, уноситься прочь, терять

себя в расстояниях, слепить себе глаза бегущей строкой пейзажей за окном и от этого ощущать сладкую иллюзию движения. И бездействовать, жить одной только мыслью, полётом фантазии, чужими рассказами.

В голове часто рождались прекрасные образы разрушения — картины смерти вещей и торжества всего осмысленного, неудержимо живого. Идя по асфальту, я представлял, как у моих ног появляется трещина в земле и проникает всё глубже, уносит всё дальше ту часть мира, от которой меня секунду назад отделял один только шаг. Сидя на вокзале, я представлял, как с сидений исчезают люди, становится пусто и гулко звучит голос в полукруглой зале. Мелкие трещинки бегут по стёклам, измельчаясь до тех пор, пока не слетит вниз прозрачная пыль. Кирпичи осыпаются. Сквозь пол стремительно прорастают деревья, широко раскинув ветви, птицы взлетают, и под воздушными взмахами их крыльев падают крыши и стены, и вместе с ними я лечу куда-то ввысь.

На вокзале я читал Франца Кафку. Как будто занесённый снегом, я перестал ждать, что когда-нибудь мою жизнь отогреет солнце. Жизнь оставила меня, как оставляют умирать в тайге больную собаку из упряжки. Что? Это я оставил свою жизнь как ничтожную цепь событий, не претендующих ни на что, кроме забвения? Но даже забвение не было мне дано. Да и на что? Чтобы заново прожить те же слова, идейный голод, перешагнув грань абсурда, побеждать его обречённым Сизифом?

Нет же, я был глуп, когда мечтал о забвении. Нужно всё помнить, чтобы повторно не упасть в эту грязь, в уродливый быт посредственности, которая не оставляет ничего, опустошает до дна и зарывает в чёрную землю забвения, по которой другие так безупречно вышагивают марши, над которой поют песни. Вся грязь мира сгущается, а под землёй — груда костей, их втоптывают всё глубже. Ничего нет. Врата Закона остаются закрытыми. «В них нельзя войти» — так говорят искателю закона. Прождав всю жизнь, он спросил: «Но почему, скажите? Для кого же эти ворота?» — «Для тебя», — отвечает скупой привратник, и странник падает замертво. Это всё гений Франца Кафки, обречённый парить над могилами маленьких людей, не даёт покоя моим мыслям, произведения, которые должны были быть сожжены, — но остались, — чтобы заполнять пустоты чужих жизней.

Всё написанное должно быть сожжено. Я убеждён в этом сегодня — как никогда прежде. Все пустоты должны зиять чёрными дырами на ничтожных, пущенных по ветру жизнях, чтобы каждый заглянул в эту бездну — и отшатнулся. Чтобы каждый, внезапно осмелев, шагнул к Вратам Закона или навсегда ушёл прочь. К чему бессмысленные, медленные ожидания? Бездеятельная тоска, бездейственный сон, пробудиться от которого помогают лишь предсмертные крики, мёртвые животные и твари, которые готовы ударить по лицу каждого, кто помешает им выйти из автобуса. Обстоятельства смыкаются, тяжёлым сводом заслоняют небо жизни, которого я так хотел достичь, но — не смог, убежал.

Вернуться? Окунуться в заботы каждого дня, решать мелкие проблемы, как будто это дело всей моей жизни? Спасать воспоминания, возвращаться к близким. Избитая подсознанием мысль, что ежедневно приходит в сон лицами друзей, лицом Аллы, родителями, что в тягостном кошмаре простирают руки к моему лицу. Вернись, просят они. Но я не двигаюсь с места. Всё это сон, пустое. Меня никто не ждёт; пока я размышлял о том, что устал ждать новой жизни, новая жизнь уже наступила — случайные прохожие, автобусы, полные до кончика пальто, застрявшего между захлопнувшимися дверцами, и память, что терзает чувства деталями, накрывает мысли тяжёлой, все стирающей волной.

Я бросил на пол игральный кубик, выпало пять. Я пнул его, и он покатился под пустыми рядами кресел. Обстоятельства подбрасывают игральный кубик моей жизни вновь и вновь, но они больше не властны над моими мыслями, факты пусты, я не помню, где был

вчера, с кем разговаривал в подземном переходе, а ведь я точно знаю, что говорил с кем-то. Только теперь это неважно. Куполом памяти я защитил себя от жизни, повторяя уже прожитое вновь и вновь, безропотно толкая камень в гору.

Я скрылся под страницами книг, отсеивая сквозь чужие мысли свои собственные. Я скрылся от людей, но иные из них бестелесно витают вокруг меня, — и я порой задаюсь вопросом, какой смысл видеть человека, касаться его тела, слышать его голос, если он и без того звучит во мне, ещё полновочувственней и чище, чем если бы человек стоял рядом со мной. Жить слепо ко всему внешнему, рассекать беззвучие собственным голосом, быть непонятым — но не стремиться к пониманию. «Понимание невозможно», — говорит мне чей-то голос. Я стою посреди шумной городской толпы и не могу разобрать, чей голос говорит со мной, но мне кажется, это и есть тот единственный, кто может меня понять. Алла? Толпа сгущается вокруг меня, чужие подступают ко мне телами, ватные, безвольные руки слепо тянутся ко мне, и тут же во мне умирают, изжив себя до последней капли.

— Исчезните, — прошу я.

— Исчезните! — кричу им я.

Страница 40. Безукоризненная случайность и чертополоховое поле

Строки проплывали перед глазами, запоминаясь побуквенно, но бессмысленно. Довольно. Я отложил книгу.

Блаженно закрыв глаза, я увидел лицо Аллы, её ровную, светлую кожу, тёмную родинку на шее под левым ухом, мягкие, нежные руки, пронизательный, глубокий взгляд. Я десятки раз проживал своё прошлое в своём воображении.

Тогда, на центральной площади города, который я покинул, собралась шумная толпа. Был душный летний вечер и какой-то праздник, в честь которого выступала с импровизированной сцены какая-то рок-группа.

Рассекая толпу в поисках края, я пробирался сквозь людей, касаясь их кожи, влажных рук, одежды, прилипшей к телу. Толпа казалась мне единым безликим существом, у которого много ног, рук и глаз. Я чувствовал навязчивую тошноту и мечтал выбраться на воздух.

И тут я увидел её. Алла лавировала между людьми в каком-то своём направлении. Мне показалось, что она искала кого-то глазами. Я заметил её, и мой взгляд потеплел, и стало легче дышать. Страх, тошнота — отступили, как будто волны вдруг отхлынули в море, обнажив влажный, блестящий песок. Нет же, я не любил её, просто мне стало легче дышать, когда появилась она.

— Что ты здесь делаешь? — она сразу почувствовала, что меня здесь быть не должно.

— Не знаю, — ответил я.

Я забыл спросить, кого она искала — и кого не нашла — в толпе. Мы покинули площадь и вскоре оказались в самой безлюдной части города, запрыгнув в автобус, номера которого не успели разглядеть. Или только я забыл разглядеть номер? Уже тогда видеть её было потребностью, — как неосознаваемая потребность лёгких дышать чистым воздухом леса, — хотя я не всегда отдавал себе в этом отчёт. Глазами я обнимал её за плечи, скользил вдоль рук, касался ладоней. Я остро чувствовал каждое микромгновение, когда наши

взгляды встречались, когда соприкасались наши плечи. В эти секунды мне казалось, что всю свою жизнь я ждал именно её. Атомы пространства становились ярче, резче, я будто бы мог разглядеть частицы воздуха, капли влаги, застывшие в ложбинках листьев, паутинки, поблёскивающие в солнечных лучах. Воздух врывался в лёгкие и разливался в них ласковым морем. Почему же я не мог удержать нас в этих микромгновениях?

— Пройдёмся?

— Куда?

Я показал ей место, где часто бывал, неподалёку от леса.

«Какая безукоризненная случайность то, что автобус привёз нас именно сюда», — думал я по дороге, смахивая с рукава бронзового жука, который полз сверху вниз, вдоль продольного шва.

Я часто сидел на этом, вросшем в землю, сером камне, глядя, как проплывают мимо поезда и люди, лица смотрят на меня из окон и воспринимают как часть пейзажа, который приберегла дорога — именно для них, как дар прозреть, в одно мгновение охватить красоту мира, — в их памяти я задерживался не более чем на секунду. В промежутках между поездами я слышал, как щебетали птицы и шумели листья.

Теперь рядом со мной сидела она, листья молчали, замер весь мир, лишь изредка покачивались травы, томно припадая к земле под безветренным, полуденным зноем. Я не сказал ей, что она была первой, кому я показал это место, как когда-то не сказал, что никому не дарил цветов. Я был уверен — она поняла, без звуков, без объяснений — она читала в моих мыслях. За нашими спинами раскинулся лес, впереди рельсы разделяли землю пополам, а за ними виднелось широкое поле, заросшее бурьяном.

— Я хочу гулять в чертополоховом поле... — начала она, задумчиво глядя вдаль. Я следил за её взглядом.

Я молчал, мне казалось, что она скажет что-то ещё. Когда я говорил с ней, мне не требовалось усилий, чтобы извлекать из себя слова, — они текли плавной извилистой рекой, достойные понимания и, достигнув, гордые им. Прошла целая вечность, прежде чем она завершила фразу.

— ...с тобой.

«Со мной?» Я вновь промолчал, но это показалось мне естественным. Я тоже хотел гулять с ней в чертополоховом поле. Но где его найти? За несколько секунд я перелистал в голове все пейзажи, которые видел, но среди них не было того единственного.

— Я никогда не видел чертополохового поля, — наконец, признался я.

— Я тоже. Только во сне.

Только во сне. Быть может, в реальности его не существует вовсе, и мы никогда не будем пробираться плечом к плечу через заросли чертополоха. Может быть, это она и имела в виду? Что нас нет и не может быть в реальности. Что мы — только выдумка моего воображения. Я хотел стремительно, бездоказательно поверить в чертополоховое поле, как я поверил в чувства, не названные словами. Не поэтому ли в каждом новом городе я неизменно жил на окраине? Риторический вопрос к самому себе. Выходя на платформу из поезда, открывая двери квартиры, фоном сознания я искал глазами эти заветные колючие заросли. Я долго делал вид, что забыл про чертополоховое поле. Но, разделяя свою жизнь на страницы, нужно быть честным. Я всегда о нём помнил.

Я придумал нашу жизнь как предчувствие ещё не свершившегося, но вот-вот готового произойти, однако время утекало прочь, ничего не происходило, — время пустовало и отмирало бессмысленно прошедшим. Предчувствие растянулось на годы, каждый день был как предчувствие нас, предчувствие чертополохового поля, которое я мечтал увидеть, как росчерк кометы на чёрном небе, как летящий в глаза первый снег, как во-

плотившийся в жизнь призрачный сон. Признать, что этого поля не существует, значило для меня признать, что не существует и нас. Поле стало символом всего, что я чувствовал, но не мог (или не хотел) выражать словами — этими жалкими, безмысленными сцеплениями букв.

В тот день я впервые обнял её за плечи и почувствовал, как весь мир сжался до ощущения этого прикосновения, её плечи превратили простой жест в событие, полное загадочного и в то же время столь ясного смысла. Её плечи закрыли собой весь мир, — властное, быстрое мгновение, оно показалось мне идеальной пропорцией — золотым сечением. Мне казалось, что эти несколько мгновений, что я обнимал её, непременно должны устремиться к бесконечности, продлиться навсегда. Но секунды никому не обязаны, и потому они исчезли, сгнули в небытие.

Я провёл рукой по её лбу, отодвинув сбившуюся прядь волос, её кожа была горячей и немного влажной, светлой, словно никогда не знавшей загара. По руке пробежала тень от березы, которая раскованно качала тонкими ветвями у нас над головами. На камень в нескольких сантиметрах от края её бирюзового платья приземлилась стрекоза и, взлетев через несколько секунд, проворно исчезла. Вдали послышался шум поезда.

Я закрыл глаза на несколько мгновений, чтобы запомнить этот момент, оставить его себе как подарок жизни, запечатлеть в памяти каждое ощущение. И я запомнил.

Страница 41

Как мог я не запомнить?